

случаѣ, если оно будет касаться излишков почти самодостаточнаго хозяйства, мало зависящаго от случайнаго пониженія на рынкѣ.

Укрупненіе и оптимальная «натурализація» крестьянскаго хозяйства возможны и на чисто «регионально-производственной» основѣ в формѣ совѣтских колхозов — но это означало-бы (по крайней мѣрѣ для Средней Европы) ликвидацію крестьянства как самобытной социальной группы и его превращеніе в пролетаріат *sui generis*. Принудительное кооперированіе крупных и мелких крестьянских дворов на «производственной основѣ», т.-е. в духѣ опредѣленнаго производственнаго плана, означало-бы углубленіе социальной дифференціаціи в деревнѣ и ея санкционированіе со стороны государства. Лишь принудительныя семейныя общины отвѣчают идеалам современнаго «народничества».

Б. Ижболдин.

НА ПУТЯХ К НОВОМУ ГРАДУ

В старину то, что соответствует нынѣшним газетным и журнальным политическим обзорѣям, звалось «*theatrum europaeum*». Тогдашніе хроникеры не догадывались, какой глубокой смысл имѣло это слово. Европа тогда была подлинным театром, поприщем, на котором разыгрывалась трагедія, являющаяся по своей природѣ ничѣм иным, как борьбою воплощенныхъ сущностей. Всѣ участники того дѣйствія, которое мы называем исторіей, всѣ люди, всѣ их объединенія, всѣ учрежденія были воплощеніями, каждое, какой-либо опредѣленной идеи, и не было ни одной «чистой», отвлеченной идеи, т.-е. уже не идеи, а понятія, — но каждая идея жила в своем воплощеніи. Эта борьба идей-сил, идей-конкретныхъ величин, была страшно-напряженной, страшно-жестокой, — как это и подобает трагедіи, изобиловала всякаго рода ужасами не в меньшей степени, нежели трагедіи Шекспира; но, как у Шекспира, «страшное» всегда символизировало трагическое, имѣло глубокой внутренней смысл: ибо здѣсь — и в этом была сущность жизненной трагедіи, что сближает ее со средневѣковымъ литургическимъ дѣйством, — никто не игралъ за кого-то и для кого-то, то всѣ были в буквальномъ смыслѣ актерами (дѣятелями) и личина, которую носилъ каждый, была непосредственнымъ выраженіемъ его собственной конкретной личности. Церковь, государство, цари, народы, воины, ремесленники, земледѣльцы, всѣ одинаково были такими персонами — в двойномъ, первоначальномъ и производномъ значеніи этого слова (маска — личность), — как в театральнхъ дѣйствахъ, гдѣ в спискахъ «дѣйствующихъ лицъ» (*dramatis personae*) значились: Италия,

Флоренція, Мир, Герцог Савойскій, Вѣстник, Народ и т. д. Нам сейчас эти олицетворенія «абстрактныхъ величинъ» кажутся холодными и наивными аллегоріями — именно потому, что эти величины мы воспринимаемъ какъ «абстрактныя»; но когда Данте обращался с инвективами къ Флоренціи, когда онъ восклицалъ: *Ahi, serva Italia!*.. в его сознаніи онѣ жили, какъ люди. И обратно: до Локка, Руссо, Бенгама и ихъ учениковъ никто не могъ-бы понять: что такое «хозяйствующій» человекъ», «голосующій человекъ», тѣмъ болѣе — «внутренній человекъ» в отличіе отъ «внѣшняго», или «человекъ» в отличіе отъ «гражданина», и какъ это вообще можно разрѣзать «просто человекъ» на кусочки, и надѣлать эти кусочки какими-то особыми, каждому отдѣльно приличествующими функциями, наконецъ; думать, что за вычетомъ всѣхъ этихъ кусочковъ еще остается какой-то «просто человекъ», «человекъ вообще». Онъ не могъ-бы понять того, что намъ кажется само собою разумѣющимся — до такой степени мы свыклись с этимъ: какъ изъ взаимодействия этихъ человѣческихъ аспектовъ, этихъ сегментовъ «человѣка вообще» можетъ складываться настоящая государственная, хозяйственная, религіозная семейная и всякая иная жизнь, какъ это вообще возможно мыслить хозяйственную жизнь отдѣльной отъ государственной, семейной, религіозной, и религіозную жизнь отдѣльно отъ государственной, хозяйственной — и т. д., и т. д. Онъ увидѣлъ бы то, чего современный человекъ — и в этомъ, вѣроятно, самая характерная черта нашего времени — не видитъ, не можетъ видѣть, ибо онъ создал себѣ особый органъ воспріятія всего даннаго ему, органъ, особенность котораго состоитъ какъ разъ в томъ, что всякое воспріятіе подмѣняется «объясненіемъ», — а именно: что сейчасъ нѣтъ болѣе ни государственной, ни религіозной, ни національной, ни хозяйственной жизни, а сплошная игра в жизнь; что міръ сейчасъ сталъ театромъ уже в иномъ значеніи этого слова, театромъ, гдѣ лицедѣи притворяются къмто, — и этотъ театръ онъ возненавидѣлъ-бы такъ, какъ Кулринъ и Бунинъ ненавидятъ театръ актеровъ. И пусть не говорятъ, что «человекъ» в противопоставленіи «гражданину», homo oeconomicus в противопоставленіи homo religiosus, «внутренній человекъ» в противопоставленіи «внѣшнему» и т. д. это лишь соціологическія, этическія, и всякія иныя категоріи, значущія только в наукѣ, а вовсе не и в жизни. В томъ-то и ужасъ нашего времени, что чисто-теоретическое разграниченіе отдѣльныхъ жизненныхъ сферъ и соответствующихъ имъ аспектовъ «человѣка» выражаетъ собою реальное — и это вовсе не по «причинѣ» все возрастающей спеціализаціи, несовпаденія темповъ развитія этихъ сферъ («объяснять» такъ значитъ повторять ошибку науковѣрцевъ, для которыхъ сферы культуры — нѣчто вродѣ органическихъ видовъ, имѣющихъ, каждый, собственную «эволюцію»), но потому что современный человекъ дѣйствительно распался на множество сегментовъ, что его духовная жизнь — если только в такомъ случаѣ можно говорить о жизни, в

том и состоит, что, подчинив свое сознание все «объясняющей», путем расчленения и классифицирования, «точной» науки, он только и делает, что сам от себя отвлекает свои аспекты, благодаря чему он и оказывается в состоянии выступать поочередно в любых ролях и на любых сценах или «планах» жизни, не являясь ни на одном из них самим собою. Отдѣлаться от навыков все-объясняющего науковѣрія, увидѣть призрачность міра, в котором мы живем, — для этого требуется чрезвычайное духовное напряженіе. Стоит сдѣлать его, — и человек испытывает то самое, что испытывает проснувшійся послѣ тяжелого сна: ему незначѣм разсуждать, провѣрять себя, разувѣрять себя; всѣм своим существом он чувствует, что всѣ тѣ нелѣпости, несуразности, которыя произошли с ним во снѣ, не были реальностью, что все это не было настоящей жизнью — и он уже не может понять, как мог он жить в этом мірѣ и вѣрить в его подлинность. И первое, что он поймет тогда, что составит его незыблемое и окончательное убѣжденіе, котораго не надо обосновывать, доказывать, как не надо зрячему и бодрствующему человеку доказывать, когда свѣтит солнце, что оно свѣтит, но котораго он никак не сможет внушить тому, кто еще спит, — это, что всѣ ночные кошмары, наводненія, нелѣпости, продукт разрыва его сознания с жизнью, плод его собственного воображенія. Равным образом пробужденіе от летаргіи науковѣрія сопровождается, у современнаго человека, открытіем, что то, что мы зовем современным кризисом, коренится, как всякій кризис, в человекѣ, а не в каких-то якобы самостоятельных, «объективных» условиях. «La crise est dans l'homme» — таково заглавіе вышедшей недавно книги Thierry Maulnier, одного из немногих в наши дни проснувшихся. В 1934 году им-же вмѣстѣ с еще двумя проснувшимися, Robert Francis и Jean-Pierre Maxence, выпущена книга *Dernain la France*. Что в ней особенно цѣнно — это ея страстность, искренность усилий, которыя авторы употребляют, чтобы растолкать спящих, заставить их открыть глаза, прозрѣть, увидѣть всю бессмысленность противорѣчій современности, не имѣющих ничего общаго с діалектическими противорѣчіями гегелевской становящейся Идеи, в которых она раскрывает всю свою полноту, все богатство своего содержанія, проходя через которыя она постепенно просвѣтляется, уточняется, воплощается в жизненных формах. Но можно-ли серьезно говорить об идеѣ Націи, когда нарастаніе поистинѣ звѣринаго націонализма сочетается со стремленіем стран, народов, классов, людей обездичиться, «быть как всѣ», или-же с готовностью отречься от своих значительнѣйших духовных цѣнностей ради соблюденія идиотскаго принципа «чистоты крови»? Можно-ли серьезно говорить об идеѣ Демократіи, когда, во имя неприкосновенности принципа народнаго суверенитета, проваливается проект, открывающій возможность в конституціонном порядкѣ провѣрить, чего хочет народ? Это проти-

ворѣчія уже иного порядка: их возможность обусловлена тѣм, что идеи подмѣнены их словесными выраженіями, стершимися до того, что они уже лишены всякаго содержанія, всякаго смысла, в силу чего их столкновенія носят не трагическій, но комическій характер, т.-е. жизнь скидывается своей собственной пародіей, какова, в своем существѣ, всякая комедія. Но как добиться того, чтобы вернуть жизни ея смысл, чтобы в человѣческом сознаніи вербальныя формулы вновь наполнились содержаніем, зашевелились, раскрылись, расцвѣли? Чтобы абстрактный «индивидуум» стал конкретной человѣческой личностью? Здѣсь мысль авторов движется в двух плоскостях. Обрѣсти себя, ощутить себя конкретной личностью, значит — настолько слиться с тѣми жизненными сферами, в которых человек дѣйствует, чтобы каждая из них порознь и все вмѣстѣ воспринимались сознаніем как тоже конкретныя личности. Это требует двух условій: общественной реформы и перерожденія человѣческаго сознанія (ничего, впрочем, и говорить, что эти условія соотносительны). Отдѣльныя жизненныя сферы должны быть органически связаны одна с другою. Общее направленіе современной реформаторской мысли настолько извѣстно, что, может быть, незачѣм и предупреждать читателя о том, что авторы развивают ученіе о корпоративном строѣ общества и государства. Но как раз эта сторона их доктрины вызывает на возраженія. Легко выдвинуть, напримѣр, — как это дѣлают они, — значеніе «областничества» (регионализма) для возрожденія идеи отечества. Но чего можно было бы добиться в этом направленіи сейчас, когда вымирают діалекты, фольклор, когда повсюду идет неизбѣжная в нынѣшних условіях нивелировка быта? «Областничество» Мориса Барреса стоит не больше, чѣм католичество Шатобриана, — принятая, может быть, и с наилучшими намѣреніями, но все-таки поза. Или еще — разсужденія авторов о собственности. Собственность это не только дом, деньги в банкѣ, одежда, которая на мнѣ: по существу, моею собственностью является все, что есть мое Я — мой талант, моя профессія, — и никто не смѣет лишить меня права быть, в этом смыслѣ, самим собою. Осуществить же так понятое право собственности можно только в корпоративном строѣ. Корпорации принадлежит рѣшить, кто я таков: дѣйствительно-ли собственник той профессіи, которая объединяет ея сочленов, или-же самозванец. В первом случаѣ я обеспечен, так как корпорация и Я, член ея, мы образуем одну личность. Это разсужденіе показывает, как силен утопическій элемент в теоріи «новаго средневѣковья», не считающійся достаточно с законом необратимости исторіи. Новая эра в исторіи культуры наступила с того момента, когда Микель-Анджело объявил, что он не принадлежит к цеху скульпторов, что он не держит «мастерской» и запретил в письмах к нему звать его «мастером». Если бы нобелевская литературная премія присуждалась цехом беллетристов, то И. А.

Бунин не получил бы ее. Здѣсь авторы владают в самопротиворѣчіе: они призывают к Революціи, которая возродила-бы подлинную жизнь, — и словно забывают, что жизнь есть всегда трагедія, а не идиллія. Геній творческой личности и ее профессія, т.е. ее исповѣданіе, — ее собственность. Да, но в том смыслѣ, как понимал это Пушкин, — трагическом, а не идиллическом. Этой собственности, в отличіе от дома, ренты, платья, обуви, никто отнять у меня не может — ни легально, ни нелегально. Но с другой стороны, трудно вообразить себѣ, каким законом могло бы быть мнѣ обеспечено право излекать из нея выгоду, — гораздо труднѣе, чѣм придумать такое общественное устройство, которое обеспечивало бы за мною возможность пользоваться принадлежащими мнѣ вещами.

Этим, впрочем, вопрос не исчерпывается. Проклятіе нашего времени в том, что, на каких бы поприщах ни дѣйствовал человек, он сам настолько привык ощущать себя абстрактным «индивидуумом», случайным центром отдѣльных, обособленных функций, что у него уже нѣтъ сознанія своей связи с «Le Grand Etre», с человечеством, как единым цѣлым в пространствѣ и времени, и нѣтъ сознанія своей ответственности перед ним. С этой точки зрѣнія исключительно важное значение пріобрѣтает проблема воспитанія, — и то, что об этом говорят авторы «Demain la France», есть, на мой взгляд, самая цѣнная часть их книги. Самая цѣнная потому, что обычно Wellverbesserer'ы нашего времени обходят эту проблему — черта особо показательная для нынѣшняго культурнаго кризиса, служащая доказательством, что люди, берущіеся лечить нашу культуру от ее болѣзней, сами страдают ее основной болѣзью: отвлеченностью, нежизненностью, вербализмом. Всѣ теоретики культуры, всѣ ее реформаторы, в тѣ времена, когда люди еще жили полной жизнью, — греки и римляне, мыслители Средневѣковья, Лютер, Раблэ, Эразм, Томас Мор, дѣятели Просвѣщенія, основоположники либерализма и социализма, ставили вопросы школы, вопросы воспитанія на первый план. В наше время эти вопросы считаются «сухими», «черезчур специальными», в концѣ концов просто — второстепенными, не заслуживающими вниманія и во всяком случаѣ не имѣющими никакого отношенія к «большим» вопросам общественности и культуры. А между тѣм современная школа — один из самых гнилых плодов современнаго вербализма, современнаго науковѣрія, современной отвлеченности, и вмѣстѣ один из самых вліятельных факторов современнаго духовнаго и социальнаго кризиса. Эта нынѣшняя школа, в которой все, что было добыто цѣною величайших творческих усилий, величайших жертв, страданій, бореній, энтузіазма, преподносится отпрепарированным, прожеванным, в таком видѣ, что усвоеніе всего этого не требует уже никаких усилий, никакой работы ума, никакой провѣрки, ни-

какой способности сочувствовать, сострадать, сорадоваться, эта школа, подмѣнивая, идя по пути наименьшаго сопротивленія, знаніе — свѣдѣніями, вещи — формулами, Пушкина — Саводником, все обезцвѣчивающая, обезличивающая, стерилизующая, и все разлагающая, все «объясняющая», но ничего не осмысливающая, с дѣтства вводит людей в мір призраков, тѣней, абстракцій, становящейся для них уже навсегда привычным, своим міром, к затхлой атмосферѣ котораго они настолько приютились, что только в нем им дышится свободно.

Я только что сказать, что люди, страдающіе от культурнаго кризиса нашего времени, ищущіе выхода из него, сами заражены тѣм, что составляет его сущность, и что это сказывается в том невниманіи, с каким они относятся к вопросам воспитанія. Вот самый, по моему, разительный примѣръ этого. Как много говорят теперь о необходимости религіознаго возрожденія, о том, что истинная культура немислима без религіи, что культура и есть религія; как много — это надо признать — дѣлается для того, чтобы привлечь к религіи подрастающія поколѣнія, и в то же время: кто из дѣятелей на этом поприщѣ поднял вопрос о современной школѣ? 1) Кто из них задумался над тѣм, что выпеченный в ней полуинтеллигент, приученный все принимать на вѣру, не в состояніи воспринять иначе и самыя истины вѣры, требующія от приступающаго к ним способности и навыков изслѣдованія, вниканія, медитациі? С этой точки зрѣнія почин, сдѣланный тремя французскими авторами, кажется мнѣ исключительно важным: ибо сейчас до очевидности ясно, что режим, который еще недавно считался обеспеченным чуть-ли не навсегда, режим конституціонной демократіи и либерализма, гибнет, рушится и что, если своевременно не будет сдѣлано попытки возрожденія, путем воспитанія, личнаго сознанія, то вмѣстѣ со всѣми пороками этого режима погибнет и то хорошее, что он дал міру: право свободно говорить, право, напримѣр, безнаказанно напечатать книгу, открыто призывающую к Революціи, какова «*Demain la France*».

П. Бицилли.

ПРАВОСЛАВНОЕ ДѢЛО

Мучительно слушать или читать любяя теоретическія разсужденія об устройствѣ жизни. С университетских кафедр, в горячих спорах на различных собраніях, люди стараются вмѣстить жизнь в схемы и образцы, вколотить невмѣстимое ея многообразіе в заранѣе опредѣленные формы. И политики, предвидящіе, что будет через де-

1) Об этом говорят педагоги. Но кто их слушает и кто их читает? Впрочем, и педагоги, задумывающіеся над этим, исключеніе.